



ВЯЧЕСЛАВ ГОТ

ПОПАДАНЕЦ.



МООНЗУНД:

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Вячеслав Гот

**Попаданец. Моонзунд:
Точка невозврата**

«Автор»

2026

Гот В.

Попаданец. Моонзунд: Точка невозврата / В. Гот — «Автор»,
2026

Он вернулся в 1917 год — всего за неделю до Моонзундского сражения. Ещё недавно он жил в XXI веке, а теперь оказался на борту русского военного корабля, среди моряков, офицеров и надвигающегося хаоса революционного года. Он знает, что произойдёт. Знает о немецкой операции, знает о предательстве, знает, чем закончится сражение. Но теперь у него есть шанс изменить историю. Вот только одного знания будущего мало. Нужно убедить командование, спасти корабли и людей и сделать невозможное — остановить врага там, где история уже вынесла свой приговор. Моонзунд начинается. И на этот раз история пойдёт по другому пути.

© Гот В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дым и сталь	5
Глава 2. Неделя до бездны	8
Глава 3. Лицо войны	11
Глава 4. Первый свидетель	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Вячеслав Гот

Попаданец. Моонзунд: Точка невозврата

Глава 1. Дым и сталь

Первое, что он почувствовал — это запах.

Не кофе, не бетон и стекло офисного центра, не выхлопы утренней пробки. Пахло иначе: горячим металлом, машинным маслом, мокрой шерстью, кислым табачным дымом и чем-то ещё — тяжёлым, солёным, древним. Так пахнет море, когда оно не ласковое, а рабочее. Серое. Злое.

Второе — качка.

Не та мягкая, почти незаметная качка парома, а глубокая, нутряная, от которой желудок подкатывает к горлу, а мозг отказывается верить, что пол может так ходить. Пол — стальной, клёпаный, крашенный в грязно-серый. По нему текли тонкие ручейки воды.

Третье — голос.

— Вставай, браток. Вставай, кому говорю. Смена твоя, не просп.

Он открыл глаза.

Над ним наклонился человек. Лет двадцати пяти, обветренное лицо, щетина, бескозырка с лентой, сдвинутая на затылок. Глаза усталые, но живые. Одет в тёмно-синюю форменку, поверх — брезентовый бушлат, прожжённый в нескольких местах. От человека пахло табаком и потом.

— Ты чего, Ерохин? — спросил человек, и в голосе его прорезалась тревога. — Белый весь. Опять, что ли?

Он хотел ответить, но горло сжало. Он не знал этого человека. Он не знал этого места. Он не знал, почему его называют Ерохиным.

Он сел — резко, слишком резко. Голова закружилась. Под пальцами — не ткань офисной рубашки, а грубая шерсть. Руки... он посмотрел на свои руки. Мозолистые, с вьёвшейся смазкой под ногтями, с ссадиной на костяшке. Не его руки. Совсем не его руки.

Это сон, — подумал он. Это просто очень реалистичный сон. Я вчера переработал. Я читал перед сном. Я...

— Ерохин, — сказал матрос, и теперь в голосе появилась жёсткость. — Ты меня слышишь? Кивни, что ли.

Он кивнул. Автоматически. Как робот.

— Ну вот, — матрос выдохнул, откинулся на пятки. — Испугал. Думал, совсем плох. Тиф, что ли? Или опять эти... как их... галлюцинации? В лазарете говорили, у тебя после контузии бывает.

Контузия. Лазарет. Ерохин.

Он — не Ерохин. Он — человек из XXI века, из города, где небо в смоге, а по утрам гудит лифт. Он — тот, кто читал про Моонзунд в интернете, листал статьи, смотрел документалки. Он — тот, кто знает даты, фамилии, итоги.

И он — здесь. На корабле. В 1917 году.

Паника поднялась изнутри, как тошнота. Он хотел закричать, вскочить, потребовать объяснений, потребовать вернуть его обратно. Но что-то — инстинкт, чужой или свой — сжало горло и заставило молчать. Моряки не любят истерик. Моряки не любят странных. Моряки в семнадцатом году особенно не любят странных — потому что странный может оказаться шпионом, провокатором, агентом. А с агентами у судовых комитетов разговор короткий.

Он сглотнул. Губы пересохли, язык прилип к небу.

— Воды, — прохрипел он. И это был не его голос. Чужой голос — ниже, глуше, с хрипотцой.

Матрос кивнул, потянулся куда-то в сторону, вернулся с жестяной кружкой. Вода была тёплая, отдавала железом. Он выпил жадно, до дна, и это немного помогло. Мир перестал плыть. Качка осталась, но теперь он хотя бы понимал, где верх, где низ.

— Спасибо, — сказал он.

Матрос смотрел на него внимательно. Слишком внимательно.

— Ты это... странный какой-то сегодня, — сказал он медленно. — Вчера вроде ничего был. Смеялся даже. Про Стеньку Разина песню пел. А сейчас... — он не договорил, только покачал головой.

Вчера. Значит, тело Ерохина жило до него. Значит, это не просто переселение в пустую оболочку — он занял место живого человека. Человека, у которого были товарищи, привычки, песни. Человека, который вчера смеялся и пел.

Где сейчас тот, настоящий Ерохин? Умер? Или просто исчез, как он сам исчез из своего офиса, из своего города, из своего времени?

Об этом лучше не думать. Пока — не думать.

Он осмотрелся. Помещение — кубрик. Низкий потолок, стальные балки, подвесные койки в несколько ярусов. Между ними — рундуки, на которых сидели и лежали матросы. Одни спали, укрывшись с головой. Другие курили, играли в карты, переговаривались вполголоса. Никто не обращал на него внимания — кроме этого матроса.

— Как тебя звать? — спросил он.

Матрос прищурился.

— Ты чего, Ерохин? Шутишь? Я — Гришка. Гришка Зверев. Мы с тобой с «Петропавловска» вместе ушли. Ты что, забыл?

«Петропавловск». Линкор. Балтийский флот.

Он лихорадочно соображал. «Петропавловск» — старый линкор, участник Первой мировой, потом — революции. Если Ерохин с него, значит, это не «Слава» и не «Цесаревич». Может быть, эсминец? Миноносец? Тральщик? Надо узнать название корабля. Надо узнать, где они.

— Голова... — он потёр висок. — Голова плохо соображает. Помоги, Гриша. Напомни. Где мы? Что за корабль?

Гришка нахмурился. Тень беспокойства снова мелькнула в его глазах.

— Ты серьёзно? — спросил он тихо. — Совсем ничего не помнишь?

— Кусками, — сказал он. И это была почти правда. — Как в тумане.

Гришка помолчал, потом вздохнул и сел рядом на рундук. Голос его стал тише.

— Корабль — «Гражданин», — сказал он. — Бывший «Цесаревич». Переименовали после Февраля. Стоим в Куйвасту. Это на Мооне, на Эзеле по-старому. Ждём немца. Все говорят — скоро придёт. Может, завтра, может, через неделю.

«Гражданин». Бывший «Цесаревич». Эзель. Моонзунд.

Сердце ухнуло вниз, потом подскочило к горлу. Это не просто 1917 год. Это Моонзундский архипелаг. Это канун операции «Альбион». Немецкий флот вторжения, десант, бои за острова, гибель «Славы», отход Балтийского флота.

Он знал эту историю. Он помнил даты: октябрь 1917-го. Помнил, что немцы захватят Эзель, Муху, Даго. Помнил, что русские потеряют линкор «Слава» и эсминец «Гром». Помнил, что это будет одна из самых горьких страниц войны на Балтике.

И он был здесь. Внутри неё. За неделю — может, меньше — до начала.

— Сколько сегодня? — спросил он, и голос сорвался. — Число какое?

Гришка посмотрел на него странно.

— Двенадцатое октября, — сказал он. — Ты что, и число забыл?

Двенадцатое октября. По старому стилю. Значит, до начала немецкой операции — считанные дни. Может быть, неделя. Может, меньше.

Он закрыл глаза. Качка продолжалась. Корабль жил своей жизнью — гудел, скрипел, дышал. Где-то внизу работали машины, глухо, ритмично, как сердце. Наверху, на палубе, кто-то ходил, отдавал команды. В кубрике кто-то засмеялся, кто-то выругался, кто-то запел тихо, вполголоса.

Всё это было настоящее. Реальное. Не сон.

Он открыл глаза и посмотрел на свои руки — чужие руки, сильные, рабочие. Потом на Гришку — живого, молодого, ещё не знающего, что будет. Потом на матросов вокруг — тех, кто через несколько дней, может быть, погибнет. Или выживет. Или станет героем. Или предателем.

Он знал, что будет. Он знал, чем всё закончится.

Вот только что он мог сделать? Один человек — в чужом теле, среди чужих людей, в чужой войне. Без связей, без денег, без документов. С одним лишь знанием, которое никто не станет слушать.

— Ерохин, — сказал Гришка тихо. — Ты чего молчишь? Ты меня пугаешь.

Он посмотрел на него. Надо было что-то сказать. Надо было играть роль. Надо было выжить — хотя бы для того, чтобы понять, зачем он здесь.

— Ничего, Гриша, — сказал он, и голос его звучал почти спокойно. — Просто голова кружится. Пройдёт.

Гришка кивнул, но в глазах его осталась тень. Он не поверил. Но пока — не стал допытываться.

— Ладно, — сказал он, вставая. — Отдыхай пока. На вахту тебя сегодня не поставят — я с боцманом поговорю. Но завтра... — он не договорил, только махнул рукой. И ушёл.

Он остался один. Вернее — не один. Вокруг были люди, десятки людей. Но он был один — среди них, чужой, потерянный, напуганный.

Он лёг обратно на койку, лицом к стене. Сталь была холодной. Качка не прекращалась. Внизу гудели машины.

Двенадцатое октября. «Гражданин». Куйвасту.

Моонзунд.

Он закрыл глаза. И впервые за это утро — может быть, впервые за всю свою жизнь — он не знал, что делать.

Он знал будущее. Но не знал, как его изменить.

Пока — не знал.

Глава 2. Неделя до бездны

Он лежал на койке, глядя в стену, и считал.

Двенадцатое октября. По старому стилю. По-новому — двадцать пятое. Разница в тринадцать дней, он помнил это ещё с университетского курса истории, который сдал на четвёрку, потому что не мог запомнить даты. Ирония. Теперь от этих дат зависела его жизнь.

Операция «Альбион». Немецкое вторжение на Моонзундские острова. Он читал об этом. Не специально — просто листал статьи, смотрел документальные фильмы, когда-то давно написал реферат. Тогда это было просто текстом. Мёртвыми буквами. Историей.

Теперь это было настоящим.

Он закрыл глаза и попытался вспомнить. Немцы начали высадку... когда? Четырнадцатого октября? Пятнадцатого? Он не был уверен. Где-то в середине месяца. Точную дату он не помнил — она стёрлась, как стирается всё ненужное. Но помнил другое: высадка началась внезапно, под прикрытием тумана. Немецкий флот — линкоры, крейсера, миноносцы — вошёл в Рижский залив. Десант высадился на Эзеле. Потом — Муху. Потом — Даго.

И русский флот отступил. Не потому, что был слабее. А потому, что не было приказа. Потому что командование колебалось. Потому что революция развела дисциплину, как ржавчина — сталь.

Он помнил главное: «Слава» погибла. Линкор, старый, но всё ещё грозный. Его затопили сами русские, чтобы не сдать немцам. В узком проливе, между Эзелем и материком. Он помнил даже фамилию — кажется, командир «Славы» получил приказ затопить корабль. И выполнил его.

Он помнил «Гром». Эсминец, который погиб в бою. Помнил, что немцы потеряли несколько кораблей на минах. Помнил, что русские потеряли больше.

Но даты. Даты расплывались, как чернила на промокашке.

Он сел на койке. Голова закружилась, но он заставил себя встать. Ноги — чужие, тяжёлые — держали. Он сделал шаг, потом ещё один. Пошёл вдоль кубрика, между койками, между людьми.

Никто не обращал на него внимания. Матросы занимались своими делами: кто-то чистил винтовку, кто-то штопал бушлат, кто-то просто спал. Пахло потом, табаком, машинным маслом. Гудели машины. Качка стала мягче — видимо, корабль стоял на якоре, и его лишь слегка покачивало.

Он вышел из кубрика. Коридор — узкий, железный, с трубами вдоль стен. Где-то капала вода. Где-то слышались голоса. Он пошёл на звук, потом на свет — тусклый, желтоватый, от лампы в железном плафоне.

Трап. Он поднялся по нему — медленно, держась за поручень. И вышел на палубу.

Ветер ударил в лицо. Холодный, сырой, солёный. Он вдохнул его — глубоко, до боли в груди. И замер.

Море было серым. Небо — ещё серее. Они сливались на горизонте, и нельзя было понять, где кончается одно и начинается другое. Вдалеке — низкие, тёмные полосы земли. Острова. Моон. Эзель. Даго. Названия, которые он знал из учебников, теперь были прямо перед ним — реальные, близкие, холодные.

Корабль стоял на рейде. Вокруг — другие корабли. Он видел их силуэты в тумане: длинные, приземистые, с высокими трубами. Линкоры. Крейсера. Эсминцы. Балтийский флот — тот, что ещё остался.

Он попытался вспомнить, сколько их было. Помнил, что «Слава» — здесь. И «Гражданин» — здесь. И «Баян», и «Адмирал Макаров». И эсминцы — «Гром», «Константин», «Изяслав». Много. Но недостаточно, чтобы остановить немцев.

Он подошёл к борту. Внизу — вода, тёмная, холодная. В ней отражалось небо. Он смотрел на неё и думал: если прыгнуть — что будет? Вернётся ли он обратно? В свой мир, в своё время, в свою жизнь?

Нет. Так не бывает. Он знал это. Попаданцы не возвращаются. Они остаются. И либо меняют историю, либо умирают, пытаясь.

Он отвернулся от воды. Надо было найти карту. Надо было найти календарь. Надо было убедиться.

Он пошёл вдоль палубы. Матросы смотрели на него — кто с равнодушием, кто с любопытством. Он кивал им, стараясь выглядеть своим. Получалось плохо. Он чувствовал себя актёром на сцене, который забыл слова.

— Ерохин! — окликнул его кто-то.

Он обернулся. Перед ним стоял матрос — молодой, худой, с веснушками на лице. В руке — швабра.

— Ты чего бродишь? — спросил матрос. — Тебе же Гришка сказал — отдыхай.

— Голова, — сказал он. — Проветриться вышел.

Матрос кивнул.

— Понятно. Слушай, ты это... — он понизил голос. — Ты вчера про немца говорил. Что он скоро придёт. Откуда знаешь?

Он напрягся. Значит, Ерохин — настоящий Ерохин — что-то говорил вчера. Что-то, что запомнилось.

— Предчувствие, — сказал он осторожно.

Матрос усмехнулся.

— Предчувствие. У нас тут у всех предчувствие. Только одни говорят — немца не пустят, другие — что всё пропало. Кому верить?

— Никому, — сказал он. — Себе верь.

Матрос посмотрел на него с удивлением. Потом хмыкнул.

— Философ, — сказал он. И ушёл, волоча швабру.

Он пошёл дальше. Нашёл трап, ведущий вниз. Спустился. Коридор. Ещё один. Он не знал, куда идёт, но что-то вело его — может, инстинкт, может, память тела. Ерохин знал этот корабль. Ерохин жил здесь. И тело помнило.

Он вышел к рубке. Дверь была приоткрыта. Внутри — тусклый свет, запах бумаги и чернил. Он заглянул.

Пусто. На столе — карты. Свёрнутые, потрёпанные, с пометками. Он вошёл. Сердце колотилось. Он развернул одну.

Балтика. Финский залив. Рижский залив. Моонзундский архипелаг — россыпь островов, как крошки на скатерти. Он нашёл Куйвасту — маленькую бухту на южном берегу Моона. Здесь стоял «Гражданин». Здесь стоял флот.

Он посмотрел на карту внимательно. Проливы. Фарватеры. Мины. Он знал, что немцы пойдут через пролив между Эзелем и Даго. Знал, что русские поставят мины. Знал, что это не поможет.

Он отложил карту. Нашёл другую — календарь. Простой, настенный, с отрывными листами. На столе, под картами. Он взял его.

Двенадцатое октября. Двенадцатое.

Он перелистал. Тринадцатое. Четырнадцатое. Пятнадцатое. Шестнадцатое. Семнадцатое. Восемнадцатое. Девятнадцатое. Двадцатое.

Он смотрел на эти даты и считал. Если немцы начнут четырнадцатого — осталось два дня. Если пятнадцатого — три. Если... но он не помнил точно. Он помнил только, что это было в середине октября. И что это было внезапно.

Он закрыл глаза. Попытался вспомнить. Немецкий флот вышел из Либавы... когда? Кажется, двенадцатого. Или тринадцатого. Пришёл в Рижский залив... четырнадцатого. Начал высадку... пятнадцатого? Или шестнадцатого?

Он не помнил. И это было хуже всего. Он знал, что будет, но не знал, когда. А без этого знание было бесполезным.

Он открыл глаза. Посмотрел на календарь. Потом на карту. Потом на свои руки — чужие, сильные, с мозолями.

Неделя, — подумал он. Максимум — неделя. Может, меньше.

Он должен был что-то сделать. Должен был предупредить. Должен был найти людей, которые поверят. Но как? Кто поверит матросу, который говорит, что знает будущее? Кто поверит Ерохину — контуженому, странному, чужому?

Он положил календарь обратно. Вышел из рубки. Закрыл дверь.

Вернулся на палубу. Ветер стал сильнее. Море — темнее. Туман сгущался. Где-то далеко, за горизонтом, были немцы. Они шли. Он знал это. Они шли, чтобы убивать.

Он стоял у борта и смотрел в туман. И думал: что делать? Что делать?

Ответа не было.

Пока — не было.

Глава 3. Лицо войны

К вечеру он знал о «Гражданине» больше, чем хотел.

Корабль жил двойной жизнью. Официально — по Морскому уставу, с командами, вахтами, расписанием. Неофициально — по законам судового комитета, который решал всё: от распределения продуктов до выдачи оружия. И эти две жизни не пересекались. Они существовали рядом, как масло и вода в одном стакане.

Он сидел в кубрике, на рундуке, и слушал.

— ...а я говорю — командир нам не указ, — сказал матрос с перевязанной рукой. Фамилии он не знал — только кличку: Рваный. — Комитет решит — так и будет.

— Комитет, комитет, — проворчал другой, пожилой, с седыми усами. — А кто в комитете? Те же горлопаны. Вчера одного выбрали — он через день в лазарет слёг. Испугался, видать.

— Не испугался, а заболел, — возразил третий. Молодой, худой, с книжкой в руке — кажется, «Азбука» или что-то в этом роде. — Тиф у него. В лазарете сказали.

— Тиф, тиф, — махнул рукой Рваный. — Всё тиф. А я думаю — просто не хотел под пули идти.

Он слушал и понимал: это не разговоры о политике. Это разговоры о жизни и смерти. О том, кто пойдёт в бой, а кто останется. О том, кому верить, а кому нет. О том, как выжить, когда мир рушится.

Он знал из книг, что 1917 год — это революция, двоевластие, хаос. Но книги не говорили о том, как это выглядит изнутри. Не говорили о том, что революция — это не только красные флаги и митинги. Это ещё и грязь, и страх, и недоверие. Это когда матрос не знает, кому подчиняться: офицеру, комитету или себе. Это когда вчерашний товарищ сегодня — враг, потому что он «за Временное правительство» или «за большевиков».

Он думал, что сможет объяснить им что-то. Что сможет рассказать о тактике, о стратегии, о том, как надо действовать. Но теперь он видел: они не станут слушать. Они слишком заняты выживанием. Слишком заняты дележом власти, которой у них никогда не было.

— Ерохин, — окликнул его Гришка. Он вернулся — усталый, с мазутом на лице. — Ты чего сидишь как неживой? Пойдём, боцман зовёт.

— Зачем? — спросил он.

— Не знаю. Сказал — пусть придёт. — Гришка пожал плечами. — Может, на вахту поставит. Может, ещё чего.

Он встал. Ноги держали. Голова — почти не кружилась. Он шёл за Гришкой по коридорам, и тело само знало дорогу. Ерохин ходил здесь сотни раз. Ерохин знал каждый трап, каждый поворот. И это было странно — чувствовать чужую память в своих мышцах.

Боцман ждал их в маленькой каюте. Низкий, широкоплечий, с лицом, как из дуба вырезанным. Он курил трубку и смотрел на них исподлобья.

— Ерохин, — сказал он. Голос — как скрип несмазанной петли. — Гришка говорит, ты сегодня не в себе. Голова, память, всё такое.

— Есть немного, — сказал он осторожно.

Боцман выпустил дым.

— Мне плевать, что у тебя там. Контузия, тиф, баба бросила — не моё дело. Но если ты на вахте свалишься — я тебя в лазарет сдам. А оттуда — на берег. И там — трибунал. Понял?

— Понял.

— Не понял, — боцман подался вперёд. — Ты не понял, Ерохин. У нас сейчас не мирное время. У нас немцы на носу. И если каждый контуженный будет по кубрикам валяться — мы тут все передохнем. Так что или ты работаешь, или ты уходишь. Третьего не дано.

Он молчал. Смотрел в глаза боцману. Тот был прав. Война не спрашивает, готов ты или нет. Война просто есть.

— Я буду работать, — сказал он.

Боцман кивнул.

— Тогда завтра — на палубу. С Гришкой. Он покажет, что делать. А сегодня — отдыхай. И это... — он помолчал. — Если что вспомнишь. Важное. Приходи. Скажи.

Он удивился.

— Почему вы мне это говорите?

Боцман посмотрел на него долгим взглядом.

— Потому что ты вчера говорил про немца. Что он придёт. И как он придёт. — Он затянулся трубкой. — Не знаю, откуда ты это взял. Может, от офицеров что слышал. Может, сам додумался. Но если знаешь, что — не молчи. У нас тут не до гордости.

Он вышел из каюты, и сердце колотилось. Значит, Ерохин говорил. Значит, что-то он знал — или делал вид, что знал. Может, просто болтал. Может, предчувствовал. Но это давало ему шанс. Боцман — не офицер. Боцман — из матросов. Ему можно доверять. Может быть.

Вечером он снова сидел в кубрике. Разговоры не стихали. Кто-то читал газету — вслух, для неграмотных. «Известия» или что-то в этом роде. Говорили о Керенском, о Корнилове, о большевиках. Говорили о мире — что надо кончать войну, что немцы тоже люди, что зачем нам это всё.

Он слушал и думал: они не понимают. Они думают, что мир — это просто. Что можно договориться. Что немцы уйдут, если мы уйдём. Они не знают, что будет потом. Не знают, что немцы не остановятся. Что будет Брестский мир. Что будет гражданская война. Что будет кровь — ещё больше крови.

Он мог бы рассказать им. Но кто поверит? Матрос Ерохин, контуженый, говорит, что видел будущее. Что через год будет голод. Что через два — красный террор. Что через десять — коллективизация. Что через двадцать — война с немцами снова, ещё страшнее.

Он молчал. Потому что знал: правда здесь не помогает. Здесь помогает только сила. Или хитрость. Или чудо.

Гришка подсел к нему.

— Ты чего молчишь? — спросил он.

— Слушаю.

— Много услышишь, — усмехнулся Гришка. — Тут все всё знают. И никто ничего не знает.

— Это как?

— А вот так. — Гришка сплюнул. — Офицеры говорят — надо воевать. Комитет говорит — надо мириться. Большевики говорят — надо власть брать. Эсеры говорят — надо землю делить. А мы сидим тут и не знаем, кого слушать. И немца ждём. Который придёт — и всем нам покажет.

Он посмотрел на Гришку. Молодой. Глупый. Живой. Может быть, через неделю — мёртвый.

— Гриша, — сказал он тихо. — Ты веришь мне?

Гришка прищурился.

— Не знаю. Ты странный сегодня.

— Я знаю, что будет, — сказал он. — Не всё. Но многое. Немцы придут. Скоро. Они высадутся на Эзеле. Потом на Муху. Потом на Даго. Мы не сможем их остановить. Но мы можем спасти людей. Если будем готовы.

Гришка смотрел на него долго. Потом покачал головой.

— Ты это... не говори никому, — сказал он тихо. — А то решат, что ты того. Или хуже — что ты немецкий шпион. Понял?

— Понял.

— И мне не говори, — Гришка встал. — Я не хочу знать. Я хочу просто жить. Понял?

Он кивнул.

Гришка ушёл. Он остался один. Среди людей. В чужом мире. С чужим знанием. Которое никому не нужно.

Он закрыл глаза. Качка продолжалась. Машины гудели. Кто-то пел — тихо, грустно, протяжно. Песня была о доме. О поле. О матери. Обо всём, что осталось на берегу.

Он слушал и думал: как их убедить? Как заставить поверить? Как спасти?

Ответа не было.

Он уснул. И во сне видел море. И корабли. И немцев. Которые шли из тумана.

Глава 4. Первый свидетель

Утро началось с крика.

Он проснулся от того, что кто-то бегал по кубрику и орал. Матросы вскакивали с коек, хватали бушлаты, натягивали сапоги. Пахло дымом — не табачным, а другим, едким, тревожным.

— Пожар! — кричал кто-то. — В машинном!

Он вскочил. Тело среагировало раньше головы — ноги сами понесли его к трапу, руки сами хватались за поручни. Ерохин знал этот корабль. Ерохин знал, что делать.

На палубе был хаос. Матросы бежали в разные стороны, сталкивались, ругались. Офицеры пытались командовать, но их никто не слушал. Из люка машинного отделения валил чёрный дым.

Он подбежал к люку. Заглянул вниз. Дым, жар, красные отсветы пламени. Где-то внизу кричали люди.

— Что горит? — спросил он у матроса, стоявшего рядом. Лицо у того было чёрное от сажи, глаза — белые, испуганные.

— Нефть! — крикнул матрос. — Трубка лопнула! Нефть на котёл попала!

Он замер. Нефть на котёл. Он знал, чем это кончается. Взрыв. Пожар. Корабль — на дно. Но он знал и другое. Он знал, что делать.

— Клапаны! — крикнул он. — Надо перекрыть клапаны! Подачу нефти!

Матрос посмотрел на него, как на сумасшедшего.

— Какие клапаны? Там всё горит!

— Запасной трубопровод! — он сам не понимал, откуда это знает. Слова вылетали сами, как будто тело помнило то, чего не помнила голова. — Есть второй контур! Если перекрыть главный и пустить по второму — давление спадёт! Пожар не дойдёт до погребов!

Матрос моргал. Потом рванул к люку, закричал вниз:

— Клапаны! Перекрывайте клапаны! Второй контур!

Из дыма вынырнул человек — механик, весь в мазуте, с обожжённой рукой.

— Кто сказал? — прохрипел он.

— Он! — матрос ткнул пальцем в него. — Ерохин сказал!

Механик посмотрел на него. Секунду. Две. Потом кивнул и исчез в дыму.

Он стоял на палубе и смотрел, как из люка валит дым. Рядом собирались матросы. Кто-то тащил песок, кто-то — огнетушители. Кто-то просто стоял и смотрел, бледный, с трясущимися руками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.